



Эта книга, к написанию которой я приступаю, может многим показаться бессмысленной — если я вообще дерзну поверить, что «многие» ее прочтут, — поскольку я начинаю работу совершенно по собственной инициативе, безо всякого приказа, сам до конца не понимая, зачем это делаю. Я хочу и должен это сделать, вот и все. Все более и более строго с нас спрашивают о намерении и целесообразности во всем, что говорится и делается, чтобы ни одно слово не было брошено наобум, и только автору данной книги пришлось проделать путь в обратном направлении — к предельной безрассудности. Хотя годы, проведенные в неволе в качестве химика — подозреваю, что их уже больше двадцати, — до краев заполнены срочной работой, осталось некое чувство недосказанности, и оно руководило процессами, совершавшимися во мне, — сам я не понимал этого, будучи, однако, глубоко и почти болезненно в них заинтересованным. Процессы эти окончатся, когда я допишу свою книгу. Таким

образом, я понимаю, каким нецелесообразным выглядит мой рассказ с позиции рационального и практического мышления, но пишу все равно.

Возможно, раньше я бы на это просто не решился. Возможно, сама неволя сделала меня легкомысленным. Условия жизни здесь мало отличаются от тех, в которых я жил, будучи свободным человеком. Еда здесь оказалась не сильно хуже — к такому можно привыкнуть. Кушетка чуть жестче, чем моя кровать дома, в Химгороде № 4, — к такому тоже привыкаешь. Я чуть реже стал выходить на воздух — и к этому можно приспособиться. Тяжелее всего оказалась разлука с женой и детьми — особенно то, что я ничего не знал и до сих пор не знаю об их судьбе, отчего мои первые годы заключения прошли в страхе и бесконечной тревоге. Но по мере того, как шло время, я становился спокойнее, чем раньше, и находил свое существование все более и более комфортным. Здесь мне нечего было бояться. У меня не было ни подчиненных, ни начальников — никого, кроме охранников, которые по большей части не мешали моей работе, заботясь лишь о том, чтобы я соблюдал правила внутреннего распорядка. У меня не было ни покровителей, ни соперников. Иногда меня сводили с учеными, чтобы я мог следить за новейшими исследованиями в области химии, — они обращались со мной вежливо и деловито, хотя и немного надменно из-за моей чуждой им национальной принадлежности. Я знал:

ни у кого нет оснований мне завидовать. Короче говоря, в каком-то смысле я чувствовал себя даже свободнее, чем на свободе. Но одновременно с нарастающим спокойствием во мне началась и эта странная работа с прошлым, и теперь я не успокоюсь, пока не запишу воспоминания о том насыщенном событиями периоде в своей жизни. Мне позволено писать, потому что я занимаюсь научной работой, и проверке эта рукопись подвергнется лишь тогда, когда я ее закончу. Таким образом, я могу позволить себе это удовольствие, даже если оно станет последним.

В те времена, с которых начинается мой рассказ, мне было под сорок. Если же для начала мне следует представиться, то вместо этого могу сказать, какой мне виделась жизнь. Мало что так красноречиво говорит о человеке, как его видение жизни: представляет ли он ее себе в виде дороги, сражения, растущего дерева или бурного моря. Глазами послушного школьника я созерцал жизнь в виде лестницы, где приходится изо всех сил спешить, преодолевая пролет за пролетом, задыхаясь и ощущая за спиной дыхание соперников. На самом деле соперников у меня было немного — большинство моих коллег в лаборатории строили свои честолюбивые планы в военной области, воспринимая дневную работу как скучный, но необходимый перерыв перед ежевечерней военной службой. Сам бы я никогда не признался, что меня куда больше интересует

химия, нежели военная служба, хоть я и был неплохим солдатом. В общем, я продолжал гонку по своей лестнице, не задумываясь о том, сколько ступенек мне предстоит преодолеть и какие прелести ждут меня на чердаке. Возможно, я смутно представлял себе здание жизни как один из наших обычных городских домов, где можно было подняться из глубин под поверхностью земли и выйти на крышу-террасу, полную воздуха, ветра и дневного света. Хоть я не до конца понимал, что именно будет соответствовать ветру и дневному свету в моем жизненном забеге, ясно было одно: преодоление очередного лестничного пролета отмечалось краткими официальными сообщениями свыше: о сданном экзамене, об успешно написанной контрольной, о переводе на более значимую должность. Таких событий в моей жизни было много, но я никогда не переставал с волнением ждать следующего. Поэтому меня слегка лихорадило, когда я вернулся на рабочее место после краткого телефонного разговора, узнав, что завтра ко мне придет инспектор и я, стало быть, получу возможность ставить эксперименты на человеческом материале. Таким образом, завтра наступит решающий момент для моего пока что важнейшего изобретения.

Я пребывал в таком возбуждении, что в оставшиеся десять минут рабочего дня мне было трудно взяться за дело. Вместо этого я — кажется,

впервые в жизни — немного схитрил и начал ставить на место аппаратуру чуть раньше, медленно и осторожно, постоянно поглядывая в обе стороны сквозь стеклянные стены, проверяя, не следит ли кто-нибудь за мной. Едва сигнальный звонок возвестил, что работа на сегодня окончена, я одним из первых поспешил наружу по длинным коридорам лаборатории. Быстро приняв душ, я сменил рабочую одежду на униформу свободного времени, вбежал в лифт-патерностер\* и уже через несколько мгновений оказался на улице. Поскольку мы получили квартиру в том же районе, где я работал, нам выдали лицензию на передвижение по земле, и я всегда наслаждался возможностью прогуляться на свежем воздухе.

Проходя мимо станции метро, я подумал, что мог бы дожждаться Линду. Я вышел очень рано, она точно еще не успела вернуться домой со своего пищекомбината, который находился в двадцати минутах езды на метро от дома. Только что подъехал поезд — толпа людей вывалилась из-под земли, продавливаясь через турникеты, где проверялись лицензии на передвижение по земле, и растеклась по окрестным улицам. Глядя поверх пустующих крыш-террас, всех этих скрученных в рулоны кусков брезента — серых, как скала, и зеленых, как луг, способных за десять минут

---

\* Л и ф т - п а т е р н о с т е р — постоянно движущийся лифт без дверей.

сделать город незаметным с воздуха, я наблюдал за этой толпой возвращающихся домой госсолдат в униформе свободного времени, и внезапно меня осенило, что, возможно, у всех у них такая же мечта, как и у меня: мечта о пути наверх.

Эта мысль захватила меня. Я знал, что раньше, в домилитаристскую эпоху, людей принуждали к работе и усердию, подавая им надежды на более просторное жилье, изысканную еду и красивую одежду. Теперь все это стало не нужно. Стандартной квартиры — однокомнатной для бессемейных, двухкомнатной для семьи — вполне хватало всем, от самых ничтожных до самых заслуженных. Еда с фабрики-кухни приносила насыщение как генералу, так и рядовому. Всеобщая униформа — одна для работы, одна для свободного времени и одна для военно-полицейской службы — тоже была одинакова для всех: для мужчин и женщин, для новичков и ветеранов, за исключением разве что знаков различия.

Впрочем, и они ценились не за красоту. Привлекательность знаков высшего начальства заключалась исключительно в том, что именно они символизировали. «Как возвышенно живет каждый госсолдат Всемирного государства! — восторженно подумал я. — То, что он почитает за величайшую ценность в жизни, выражается для него в виде трех черных полос на рукаве. Три черных полосы — залог уважения со стороны других и самоуважения для него самого». Материаль-

ными благами наверняка можно пресытиться — именно поэтому я подозреваю, что двенадцатикомнатные квартиры старых капиталистов домилитаристкой эпохи тоже были всего лишь символом — между тем самой желанной наградой, к которой все стремятся, в виде знака различия, пресытиться невозможно, ведь каждый хочет самоуважения и уважения других. Только на самом возвышенном, самом призрачном и недостижимом из всего существующего надежно базируется наш прочный общественный порядок на все времена.

Так я стоял в размышлениях у выхода из метро и как во сне наблюдал за охранником, прогуливающимся взад-вперед вдоль украшенной колючей проволокой стены района. Прошло четыре поезда, четыре раза толпы народу вытекали на поверхность, прежде чем через турникет вышла Линда. Я поспешил к ней, и мы пошли дальше бок о бок.

Разговаривать мы, конечно же, не могли из-за учений воздушного флота — шум не позволял беседовать на улице ни днем, ни ночью. Но она, по крайней мере, увидела мое радостное лицо и ободряюще кивнула мне, серьезная, как обычно. Только когда мы вошли в дом и лифт унес нас вниз на наш этаж, вокруг воцарилась относительная тишина — грохот метро, сотрясавший стены, был не настолько громким, чтобы нельзя было разговаривать, однако



из осторожности мы отложили все разговоры до того момента, как войдем в квартиру. Если бы кто-то застал нас разговаривающими в лифте, возникли бы естественные подозрения, что мы обсуждаем темы, не предназначенные для ушей детей или домработницы. Бывали случаи, когда враги государства или иные злоумышленники использовали лифт для конспирации; к тому же это первое, что приходит в голову, ибо «полицейский глаз» и «полицейское ухо» по техническим причинам нельзя вмонтировать в лифте, а вахтер обычно занят другими делами, ему некогда бегать по лестницам и подслушивать. Из осторожности мы молчали, пока не вошли в квартиру, где дежурная домработница уже поставила на стол ужин и ждала нас с детьми, которых забрала с детского этажа в нашем доме. Она казалась нам девушкой основательной и приятной, и мы приветствовали ее дружелюбно с ней не только из-за того, что она, как и все домработницы, обязана в конце недели подавать рапорт о жизни семьи — реформа, которая, по общему мнению, улучшила обстановку во многих домах. За нашим столом царил атмосфера радости и уюта, особенно учитывая то, что сегодня с нами был наш старший сын Оссу — он вернулся домой из детского лагеря, потому что был семейный вечер.

— У меня хорошая новость, — сказал я Линде за картофельным супом. — Мои эксперименты продвинулись настолько, что завтра я смогу

опробовать свое изобретение на человеческом материале под присмотром инспектора.

— Как ты думаешь, кого назначат? — спросила Линда.

От ее слов я внутренне вздрогнул, хотя они, возможно, были произнесены без всякого умысла. Что может быть естественнее, чем когда жена интересуется, кто станет инспектором мужа? Ведь от неприязни или дружелюбия инспектора зависело, как долго продлятся испытания. Случалось даже, что некоторые тщеславные инспекторы присваивали изобретение своего подконтрольного, и с этим ничего нельзя поделать. Ничего удивительного, что близкие интересуются, кто это будет.

В голосе Линды мне почудился необычный оттенок. Моим непосредственным начальником, и, со всей вероятностью, будущим инспектором, был Эдо Риссен — раньше он работал на пищевом комбинате, где сейчас трудится Линда. Я знал, что они много взаимодействовали по работе, и по различным мелким признакам сделал вывод, что он произвел на мою жену сильное впечатление.

От ее вопроса во мне вспыхнула ревность. Насколько тесные отношения связывают Линду с Риссеном? На большом комбинате легко могло случиться, что два человека находятся вне зоны видимости других, например, на складе, где тюки и ящики закрывают обзор через стеклянные стены и где к тому же в этот момент может

не быть никого другого... Ведь и Линде приходилось иногда нести дежурство на комбинате по ночам. Риссен легко мог остаться дежурить в то же время. Все возможно, даже самое ужасное: она по-прежнему любит его, а не меня.

В те времена я редко задумывался о самом себе, о том, что думаю и чувствую или же что думают и чувствуют другие, если это не имело для меня практического значения. Лишь позднее, в неволе, в полном одиночестве, те мгновения вернулись ко мне в виде загадок, заставляя меня осознавать, пытаться пересмотреть и понять заново. Теперь, много лет спустя, я знаю, что когда я так нетерпеливо надеялся получить «ясность» по поводу Линды и Риссена, я на самом деле не хотел знать, что между ними не существует никакой связи. Я желал убедиться, что ее тянет на сторону. Хотел ясности, которая поставила бы точку в моем браке.

Но в те времена я с презрением отмел бы такую мысль. Сказал бы, что Линда играет в моей жизни слишком важную роль. Так оно и было, и никакие размышления и пересмотры не смогли бы этого изменить. По значению в моей жизни она могла бы конкурировать с моей карьерой. Против моей воли она каким-то непостижимым образом держала меня в тисках.

Можно говорить о «любви» как об устарелом романтическом понятии, однако, боюсь, она все же существует и с самого начала включает в себя

источник неопикуемых страданий. Мужчину тянет к женщине, женщину к мужчине, и с каждым шагом, приближающим их друг к другу, они одновременно предают нечто в самих себе — это серия сражений, окончившихся поражением. Уже в своем первом браке — бездетном, и потому бессмысленном — я ощущал первые предвестники беды. Линда же, ставшая моей второй женой, довела их до состояния полного ужаса. В первые годы нашей супружеской жизни меня постоянно преследовал кошмарный сон, который я тогда не связывал с ней: я словно стоял в крошечной тьме, сам, освещенный ярким прожектором, ощущая, что из темноты на меня направлены глаза, и извивался, словно червь, пытаясь ускользнуть от них, мучительно стыдясь тех недостойных тряпок, в которые был одет. Только позднее я понял, что это было явственное воплощение моих отношений с Линдой, в которых я сам ощущал себя пугающе прозрачным, хотя и делал все, чтобы защититься, — она оставалась такой же загадочной, прекрасной и сильной, почти сверхчеловеческой, но вызывала у меня непрестанную тревогу, потому как ее загадочность была превосходством. Когда ее губы сжимались в узкую красную черту — о нет, то была не улыбка, в ней не читалось ни насмешки, ни радости, скорее это можно назвать натяжением, как натягивают тетиву на луке, — в то время как широко распахнутые глаза оставались холодными, по всему мо-